

**В. Свительский**

**«СБИЛИСЬ МЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ!..»  
(К сегодняшним прочтениям романа «Идиот»)**

Истолкование литературного произведения — дело непростое, капризное, прихотливое, особенно сегодня, когда обилие школ и подходов — реальность, когда различные научные парадигмы не только сменяют друг друга, но и уживаются в рамках одной отрасли или национальной школы. Порой принцип то ли дополнительности, то ли относительности заслоняет на царском троне научную истину, и тогда получается прямо-таки в согласии с принципом «все позволено»: лихо помахивают топориком освобожденные умы...

Вот, казалось бы, договорились специалисты-единомышленники о нормах, которых будут придерживаться при толковании классических текстов, но является иная компания и говорит: а мы будем делать все наоборот!.. И они тоже имеют право... Верное прочтение? А зачем оно нужно! Необходимость терминологической конвенции? Но разноязычие куда интересней, к тому же — ни к чему не обязывает... Да и кому нужна в наши дни одна общая бапня!.. Авторский замысел? Но конечный результат частенько с ним расходится или спорит. Какой там автор, если он умер!.. И если есть только текстовые блоки, их подбор, состоящая из них конструкция, рассчитанная на предсказуемые клише восприятия... Действительность живого текста, произведения как художественного целого? Но не важнее ли цитаты, аллюзии, смело найденные и озорно придуманные аналогии: нет текста — есть интертекстуальный анализ!..

После всего этого (и многого другого!) хочется схватиться за голову и вспомнить о простых вещах — о том, что наблюдения могут быть точными, что самые смелые гипотезы должны быть обоснованы, а риск их оговорен... Хочется помечтать о научной истине и необходимости адекватного прочтения. Не мешает восстановить в силе и простейшее —

здравый смысл, который способен спасти на самых запутанных перепутьях. Все-таки главной в литературе и для науки о ней является данность текста, произведения. В ее глубине, на ее пространстве находятся все основные аргументы для ученого. Эта многозначная данность неохотно поддается нашему анализу, с трудом укладывается в предлагаемые интерпретации, но не должны ли мы стремиться к ее равноценному познанию? Не претендуя на монополию обладания окончательной истиной, хотелось бы и не расписываться в собственном бессилии, объявляя произведение изначально непостижимым.

### ОХ, УЖ ЭТОТ НЕУДАЧНИК ДОСТОЕВСКИЙ!..

Только что Борис Парамонов объявил на весь... Интернет, что роман «Идиот» — неудача писателя. «Глыба», «из которой ваятель так и не сумел ничего толком высечь»... Критику нравится только первая часть произведения, где есть *все*, в том числе и главный герой. А в целом же «Мышкин не получился...»

Если бы это была *парадоксальная* оценка, а то ведь она не первой свежести и смахивает уже на трюизм. «Мышкин не получился» — это фраза из переведенного у нас раздела книги Мюррея Кригера (перевод опубликован в 1994 г.)<sup>1</sup>. Но вот диагноз «неудача» имеет более длинную бороду...

Этот диагноз появился даже раньше, чем роман был дописан. Тогда вышла всего лишь первая часть произведения, а с газетного листа дерзко прозвучало такое утверждение. В. Буренин целых три статьи посвятил публиковавшемуся роману (Санкт-Петербургские ведомости. 1868. 24 февраля, 6 апреля, 13 сентября), но ради чего они были написаны? На основании части первой произведения журналистом было объявлено, что роман «вполне безнадежен», после прочтения второй части он был оценен как «неудачнейший», автор увидел в новом сочинении лишь «беллетристическую компиляцию». Появление таких оценок объяснить просто: писатель был чужим (не «нашим!»), напал на радикально настроенную молодежь, поэтому можно было не сдерживать себя в приговорах.

Как видим, история восприятия Достоевского как писателя-«неудачника» растянулась надолго, имеет свои кульминации, ветви и этапы. Когда с работ Вл. Соловьева, Д. Мережковского, В. Розанова, А. Волынского началось наконец углубленное, сочувственное перечитывание его сочинений, равносильное открытию, стал, например, накапливаться и опыт ученого, «профессорского» освоения явления. Это, может быть, и скучноватое знание сбрасывать со счета тоже не стоит, пусть оно и не отличается оригинальностью суждений и яркостью формы. Авторы учебников, обобщающих трудов, академических лекций работают медленно,

---

<sup>1</sup> Кригер Мюррей. «Идиот» Достоевского: проклятие святости / Пер. с англ. Т. А. Касаткиной // Достоевский и мировая культура. М., 1994. № 3. С. 171.

но верно: они закладывают якобы взвешенные представления в сознание учащейся молодежи, «процеживают» прозвучавшие оценки на много лет вперед. Вот два противоположных примера — О. Ф. Миллера и П. Н. Полевого: они наиболее здесь подходят, потому что не носят одиозного характера.

Первый — очень симпатичная личность, бескорыстная и подвижническая, — вызвал у Н. К. Михайловского даже раздражение своей настойчивой пропагандой творчества Достоевского<sup>2</sup>. Он был знаком с писателем, участвовал вместе с ним в благотворительных акциях. И вот в его «Публичных лекциях» звучит: «„Идиот“ в художественном отношении слабее...» Эту цитату привожу по примечаниям к Полному собранию сочинений (9; 417). Пытался найти ее в имеющемся в моей библиотеке 1 томе книги «Русские писатели после Гоголя. Чтения, речи и статьи Ореста Миллера» (Изд. 4-е — без года) — обнаружить ее не удалось. Думаю, объяснение может быть одно. Первым изданием книга вышла в 1874 г. Перед нами пример такого осторожного, бережного отношения к наследию Достоевского, что автор убирал при переиздании своих лекций все оценки сколько-нибудь субъективные, отдающие вкусом. Своей целью он ставил задачу сообщения фактов, а не их истолкования. И ценность явления Достоевского ему стала видна раньше, чем Н. Михайловскому.

П. Н. Полевой стремился объяснить особенности изображения художника, в том числе и в «Идиоте», считал развитие Достоевского последовательным, верно понял будоражащую силу его произведений. Однако мнение литературоведа о художественном уровне романа с самого начала было сдержанным («писался неровно», «полного развития рассказа» не получилось), а в 3 томе его «Истории русской словесности от древнейших времен до наших дней», вышедшем в 1900 г., отдается должное лишь «Преступлению и наказанию», все же остальные романы начиная с «Идиота» объявляются неудачами писателя. Какое там *великое пятикнижие!*.. Увы, писатель-неудачник!.. Но эта оценка на фоне появившихся работ и в преддверии начинающегося времени Достоевского, когда он стал соперничать с писателями живущими, звучала уже как откровенный нонсенс.

В 20-е годы, когда в новоименованной стране встал вопрос, «по пути или не по пути Достоевскому с советской властью» (В. Львов-Рогачевский), в юбилейной шумихе 1921 г. такой диагноз еще мог прозвучать, но в дальнейшем несуетный тон задавали серьезные люди: в это время возникает наконец настоящая научная достоевистика, идет изучение рукописей писателя, начинаются издание первого «почти» академического собрания сочинений и публикация черновых материалов, выходят интереснейшие научные сборники... В 30-е годы климат изменился, как известно, в худшую сторону. Вспомним, что публикация записных

<sup>2</sup> См.: Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 182.

тетрадей к «Идиоту» в 1931 г. под ред. П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова сопровождалась, в качестве противовеса, уже вульгарно-социологической статьей Г. Нерадова (явный псевдоним!) «Бедный рыцарь», автор которой, видно, и сам был «не рад» возложенной на него миссии.

Но вот на судорожном исходе сталинского периода становится нужен В. Ермилов, азартно выполнявший заказы системы, выразивший ее суть. Достоевский не мог не оказаться его героем. В 1948 г. прозвучала его печально известная лекция «Против реакционных идей в творчестве Ф. М. Достоевского», но в 1956 г. он выполнил уже противоположный заказ. Тогда появляется его книга, хотя и означавшая возвращение Достоевского в разрешенную жизнь общества, но вновь напомнившая в отношении романа «Идиот» о лапидарной резолюции: «неудача»...

Глава об этом романе написана по очень знакомой схеме: сначала придумано одно — желаемое — произведение, а затем сочиненным ранжиром проверяется сочинение, действительно существующее. Чтобы нафантазировать своего «Идиота», критику хватило всего одной — первой — части романа (его вообще удовлетворила бы эта вводная часть — продолжения ему не требовалось!) да кое-каких перевранных сведений об авторском замысле. Текст произведения был разбит опытным вивисектором на два романа — Настасьи Филипповны и молодежи, сгруппировавшейся вокруг «сына Павлищева», и наличие двух неслаженных романов в одном, естественно, факт против автора. Изображение радикально настроенной молодежи представляет собою «самую настоящую злокачественную опухоль», его «вторжение и перекосило весь роман, перекосило все его образы до неузнаваемости», это — «вторжение „антинигилистического“ памфлета».

Нет, слово «неудача» в главе впрямую не появляется: Ермилов находчивый литератор... Оттолкнувшись от фамилии Бурдовского, он пишет, что автор предложил читателям «бурду». Имеется в виду роман о молодежи, но и в целом произведение не состоялось: «Роман Достоевского ушел в песок. Он измельчал. Он колеблется и шатается»<sup>3</sup>, его целое выражает «бесхарактерность» творца, запутавшегося между бунтом и смирением...

М. Гуса, выпустившего свою книгу о писателе в более вегетарианские времена, ермиловская бойкость пера не отличала, он воплощал другой тип работника советской печати — тип унылого начетчика-ортодокса. Уже первым рецензентам этого пухлого труда (вышел двумя изданиями — в 1962 и 1971 гг.) бросилось в глаза, что творчество писателя под пером исследователя предстало как цепь сплошных «неудач»<sup>4</sup>: непонятно было, зачем писать о неудачном творчестве!.. Роман «Идиот» не избежал общей участи. Автор безоговорочно констатировал «идейную и художественную неудачу Достоевского, не создавшего убедительный

---

<sup>3</sup> Ермилов В. Ф. М. Достоевский. М., 1956. С. 209.

<sup>4</sup> Бойко М. Новая книга о Достоевском // Новый мир. 1963, № 10. С. 262.

образ „положительно прекрасного человека“<sup>5</sup>. «Предвзятость схемы», «противоречие замысла»... Мышкин «не воскресил, а погубил Настасью Филипповну, довел Аглаю не до человечности, а до ненавистного ему католицизма, не исправил Рогожина, но толкнул его на убийство, конечно невольно. И оказалось, что „положительно прекрасный человек“ со своим подлинно христианским, даже Христовым характером, со своими воззрениями совершенно несостоятелен в борьбе со злом, в достижении победы добра»<sup>6</sup>. Гус не раз повторяет, что «истинным виновником» гибели Настасьи Филипповны «был Мышкин». Ему доступен только внешний бытовой слой происходящего в романе, объяснение черпается в повседневных отношениях, для толкователя все просто: герой запутался между двумя женщинами, и «любить-то <...> не умеет». Все это перепевы обвинений, уже прозвучавших и в романе, и у Мережковского. Главное же, почему «неудача», — замахнулся на нигилистически настроенную молодежь. Значит — не свой, а с произведением врага можно обойтись как попало...

Но что возьмешь с Ермилова или Гуса: они ведь были рабами-винтиками системы, сторожевой охраной «генеральной линии», самодовлеющей идеологии!.. Да и можно ли спорить с партийным пристрастием, со зрением, изначально искажающим все, основанным на отклонении от нормы?! Странно, что сегодня, когда уже нет заботливого, указующего агитпропа, вдруг замелькал опять нелепый, приговаривающий ярлычок и распространяется, как болезненный «трихин», с интернетовской скоростью, легко пересекая все границы. Банальный, легкомысленный диагноз-приговор, от повторения не превращающийся в аксиому...

У К. В. Мочульского, например, были претензии к исполнению образа князя Мышкина, но он изящно, интеллигентно сформулировал: «Образ „положительно-прекрасного человека“ в романе „Идиот“ остался недо воплощенным»<sup>7</sup>. Этим итогом, однако, целое произведения не зачеркивалось, художественная ценность не ставилась под сомнение. Мы же — как из допотопной пушки: «неудача»!.. У талантливой Т. А. Касаткиной звучит: «великая неудача»<sup>8</sup>, но разве бывают неудачи великими?! Это уже отдаст суетливостью красивенького сочинительства. На стр. 77 книги исследовательницы эта формула прозвучала утверждающе, на стр. 208 она как будто отрицается, но затем идет статья об эпилогах романов писателя, где негативный диагноз по сути обосновывается... Сбивчивая книга! Концы с концами в ней не сходятся. Известен и один из источников. В 1994 г. именно Т. А. Касаткина познакомила российскую аудиторию с собственным переводом раздела яркой работы американского слависта Мюррея Кригера, написанной где-то в начале 60-х гг.: в ней — уже и опять — произнесен вердикт «неудача», брошено:

<sup>5</sup> Гус М. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. Изд. 2-е, доп. М., 1971. С. 383.

<sup>6</sup> Там же. С. 381.

<sup>7</sup> Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 409.

<sup>8</sup> Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. М., 1996. С. 77.

«Мышкин не получился...», гроыхает призыв «забраковать» нелепого героя... Но у американского литературоведа была оригинальная концепция, и, читая «трудный, часто путанный и несовершенный», «расползающийся роман» (во второй половине нашего века искусство чтения стало падать!), он по крайней мере знал, чего он хочет...

### КНЯЗЬ ХРИСТОС?

«Мышкин не получился, Христа из него не вышло, как задумывалось...» Б. Парамонов уверен, что образ замысливался как «репрезентация Христа», что «князь Мышкин — попытка дать христоподобную фигуру» (при этом «положительно прекрасный человек» и «князь Христос» для критика — одно и то же). М. Гус исходил из очевидной для него аксиомы: по замыслу писателя, герой должен был «стать земным воплощением идеала Христа». При внешней переключке это разные вещи — «христоподобие» и «воплощение идеала Христа»... Для Арпада Ковача в герое Достоевского налицо «аналогия» с образом Христа<sup>9</sup>. Э. Эггерберг считает, что писатель создавал Мышкина «не как совершенного человека, а более или менее по образу самого Христа»<sup>10</sup>. Г. К. Щенников, выясняя связь между первосоздателем великой религии и литературным героем, употребил неосторожное слово «прототип»<sup>11</sup>. Примечательна статья М. Свицерской под названием: «„Идиот“ — новый Христос?»<sup>12</sup>.

Споры шли и раньше, например в эмигрантской достоевистике. Р. В. Плетнев делал попытку наметить «путь, по которому развивается в его [Достоевского] творчестве тип „положительно-прекрасного человека“». Герои его романов начинают носить на себе отблеск высшей Красоты, отражение идеальной личности — Христа. Происходит обычно тонко зашифрованное и заштрихованное „Imitato Christi“, я не подберу иного термина»<sup>13</sup>. В первую очередь это относится, конечно, к Мышкину. Но, несмотря на неоднозначный термин на латыни, речь скорее идет об «отблеске», а не буквальном отражении. К. В. Мочульский, обсуждая возможность отождествления литературного героя с Христом, пришел, наоборот, к однозначному выводу: «В окончательной редакции „божественность“ князя исчезла; „праведность“ прикрылась человеческими слабостями. Писатель преодолел соблазн написать „роман о Христе“»<sup>14</sup>. Раньше исследователь обосновал мнение о невозможности изображения

---

<sup>9</sup> Ковач Арпад. Генезис идеи «прекрасного человека» и движение замысла романа «Идиот» // *Studia Slavica Hungary*. XXI. Budapest, 1975. P. 315.

<sup>10</sup> Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Сб. научн. трудов. Петрозаводск, 1998. Вып. 2. С. 390.

<sup>11</sup> Щенников Г. К. «Положительно прекрасный человек» // *Достоевский. Эстетика и поэтика. Словарь-справочник*. Челябинск, 1997. С. 109.

<sup>12</sup> *Świdarska Małgorzata. Der «Idiot» — ein moderner Christus?* // F. M. Dostojewski: Dichter, Denker, Visionär. Tübingen: Attempto, 1998.

<sup>13</sup> Плетнев Р. В. Достоевский и Евангелие // *Русские эмигранты о Достоевском*. СПб., 1994. С. 169, ср. 170.

<sup>14</sup> Мочульский К. Указ. соч. С. 393.

«святости» в литературе и в романе. И весь его анализ «Идиота» строится без учета обозначения «князь Христос».

Однако если бросить общий взгляд на необъятную литературу о романе, в последнее время умножившуюся, то получается, что трижды повторенное в подготовительных тетрадах выражение «Князь Христос» нависает своим не до конца проясненным значением над почти всеми трактовками произведения. Выходит даже, что не только те, кто роман считает удачей писателя и опирается на магическую формулу, прослеживая ее содержательное воплощение в тексте романа, но и те, кто говорит о неудаче, подходят к произведению с этой формулой как с контрольным шаблоном: ага! хотел показать хриstopодобного героя, да не вышло! Ужо тебе, не справившийся с замыслом творец!..

Обозначение «Князь Христос» воспринимается большинством как аксиоматичный, все или почти все объясняющий код к роману и фигуре главного героя. В первую очередь все упирается в проблему героя, смыслового состава его образа и его авторской оценки. Исследователям же, стремящимся исходить непосредственно из данности текста, приходится доказывать: «При всей своей нравственной отзывчивости и душевной красоте кн. Мышкин лишен дара прозрения истины, мудрости и святости евангельского Христа»<sup>15</sup>. Обозначилась проблема: «Князь Мышкин или „Князь Христос“?», — как метко названа одна рецензия (к сожалению, в самой рецензии данный вопрос и не стоит, а ее автор как раз исходит из «всем известного факта о хриstopодобном характере образа главного героя романа „Идиот“»<sup>16</sup>). Никем не ставится под сомнение «глубоко личное (полное благоговейной любви) отношение писателя к Христу» (Н. Ф. Буданова), но по-разному решается вопрос о соотношении христианства и гуманизма в авторской позиции. В. А. Котельников склонен замкнуть Мышкина в односторонности внерелигиозного гуманизма, говорит о внецерковности героя<sup>17</sup>. Для Г. Г. Ермиловой «Князь Христос» значит «русский Христос», для Г. К. Щенникова Мышкин — «выразитель нравственного сознания народа»<sup>18</sup>.

В отечественной достоевистике сближение Мышкина и Христа, по-видимому, началось с большой работы П. Н. Сакулина, сопровождавшей публикацию рукописных материалов к «Идиоту». Мысль публикатора не грешит прямолинейностью, но эпоха воинствующего безбожничества не позволяла спокойно разобраться в христианской подоплеке замысла писателя. В кропотливом анализе Сакулина настоящий Мышкин начинается с помет «Князь» и «Князь Юродивый он с детьми?!». Однако при разборе сменяющих друг друга планов романа

<sup>15</sup> Арсентьева Н. Н. «Положительно прекрасный человек» // Достоевский. Эстетика и поэтика. Словарь-справочник. С. 109.

<sup>16</sup> Фокин П. Князь Мышкин или «Князь Христос»? // Достоевский и мировая культура. М., 1995. № 4. С. 155.

<sup>17</sup> См.: Котельников В. А. Хриstopодобие Достоевского // Достоевский и мировая культура. СПб., 1998. № 11. С. 26–27.

<sup>18</sup> Щенников Г. К. Достоевский и русский реализм. Свердловск, 1987. С. 254.

видна тенденция представить логику творца как постепенное обретение героем хриstopодобия. Примечательно, что ученый весьма внешне понимает выбор и трагический жребий Христа, а «христианство» в его наблюдениях предстает скорее в весьма элементарном морально–психологическом плане. В этой связи, говоря о Мышкине, как его образ сложился в уже опубликованной первой части, исследователь идет на весьма откровенное утверждение: «Его прошлое — почти таинственное. Такой исключительный человек должен иметь и исключительную биографию. В жизни с ним должны случаться чудеса; и мы не удивимся, если сам он будет творить чудеса»<sup>19</sup>. Речь ведется уже о явно хриstopодобном герое, но доказательств в пользу такого толкования не хватает. «Любовь христианская», испытываемая героем, — это еще не хриstopодобие, да и что под ним понимать? «Теория практического христианства» — в чем она? Упоминание Евангелия, параллели с ним еще ни о чем не говорят.

Подходя к финалу своих изысканий, Сакулин роняет: «Сближение Князя с Христом напрашивается уже давно», но в конечном счете от прямого отождествления уходит. Не заставляет его это сделать и формула «Князь Христос». Комментируя ее, он воздерживается от ответа: «Как бы ни понимать смысл этого сопоставления имен, бесспорно одно, что Князь более всего думает о Христе и христианстве»<sup>20</sup>. Возможно, сработала осторожность ученого, уклонившегося от окончательного вывода из-за отсутствия достаточных оснований. Однако и до Сакулина Мышкина сопоставляли с Христом: об этом свидетельствует Г. Гессе в статье 1919 г.<sup>21</sup>

В наши дни вопрос о степени близости литературного образа к центральной евангельской фигуре приобрел обостренно актуальное значение. Большинству занимающихся Достоевским естественно передается отношение писателя к Христу. Но главное, конечно, в другом: у интеллигенции идет период возвращения к вере праотцов, у специалистов — выяснение истинной роли христианского контекста в содержании классической литературы. Общая ситуация обуславливает и переклесты неофитического энтузиазма, и неизбежные противоречия и крайности, когда желаемое часто выдается за действительное, мода опережает реальные обретения, новообращенные оказываются более правоверными, чем сам патриарх. Для распознавания христианского контекста в произведениях Достоевского много сделано В. Е. Ветловской, И. А. Кирилловой, Г. С. Померанцем, В. А. Котельниковым, В. Н. Захаровым и другими учеными. Показательны для текущего момента работы Г. Г. Ермиловой.

Лично у меня вызывают неподдельное уважение настойчивые усилия исследовательницы, сосредоточившейся на изучении романа «Идиот», на его религиозно–философском содержании. Не вызывают сомнения ее искренность и отсутствие зависимости от суеты скороспелых

<sup>19</sup> Сакулин П. Н. Работа Достоевского над «Идиотом» // Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Незданные материалы. М.; Л., 1931. С. 255.

<sup>20</sup> Там же. С. 277.

<sup>21</sup> См.: Гессе Герман. Письма по кругу. М., 1987. С. 115.

увлечений. Заслуживает всяческой поддержки стремление выяснить глубинный слой произведения, его метафизическое ядро. В классическом тексте открываются те смыслы, которые раньше были недоступны толкователям. Установка как можно полнее «понять евангельский пласт „Идиота“» обоснованна и назрела. Вместе с тем развертывание концепции в трудах литературоведа приоткрывает и спор различных возможностей в нашем сегодняшнем восприятии насущной темы.

В аннотации к книге Г. Г. Ермиловой читатель предупреждается, что «внимание сосредоточено на образе Мышкина, названного автором „Князем Христом“»<sup>22</sup>. Безоговорочность утверждения показательна, хотя писатель назвал так своего героя в ходе работы, в предварительных записях к роману, обозначение затем не повторялось и в окончательном тексте его нет; надо бы оговаривать его вариативность. По мнению литературоведа, настоящий Мышкин появляется в процессе обдумывания замысла именно с помет «невинен» и «Князь Христос» (отличие от анализа П. Н. Сакулина). В реферате же диссертации, возникшей во многом из книги, Г. Г. Ермилова прямо называет формулу «Князь Христос» «структурирующей» текст романа «авторской мифологемой»<sup>23</sup>.

С одной стороны, как будто разумные пропорции не теряются: «Князем Мышкиным был явлен *живой образ* истинного человека» (95); «Князь Мышкин наделен своей судьбой, которая соотносится с судьбой Иисуса, но не повторяет ее и не может повторить» (98)... Но с такими характеристиками соседствуют иные, ставящие первые под сомнение. Для исследовательницы «ориентированность» Мышкина «на евангельский архетип — очевидна» (98). И Ермилова имеет в виду не то подобие, которое присуще всем людям, — идет постоянное сближение конкретного литературного героя с Христом (см. стр. 13, 33–34, 37, 40, 41, 47 и др.). Именно «христоцентричность религиозных взглядов Достоевского определила центральное и всесвяующее положение Мышкина в романе „Идиот“» (12). Обозначение употребляется впрямую: «Он „Князь Христос“...» (30; ср. 43), в самой формуле акцент делается на Христе. Куда тогда девать чисто человеческие черты героя, его болезненность и т. п.? Но мы, литературоведы, почти писатели, наша мысль находчива, и автор объясняет: «физическая неполноценность героя компенсируется его мессианским предназначением» (35). Ничего себе, оказывается князь Лев Николаевич Мышкин — герой-мессия!.. Правда, возможно, литературовед понимает под мессией всего лишь проповедника-визионера... Но все равно мысль Г. Г. Ермиловой часто разворачивается по весьма странной модели: сначала писателю приписывается то или иное намерение, а затем оказывается, что оно и не состоялось, не дошло до полного

<sup>22</sup> Ермилова Г. Г. Тайна князя Мышкина. О романе Достоевского «Идиот». Иваново, 1993. С. 2. Далее ссылки даются в тексте.

<sup>23</sup> Ермилова Г. Г. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: Поэтика, контекст. Иваново, 1999. Автореферат дис. ... доктора филол. наук. С. 4. Далее ссылки в тексте с указанием: Реферат.

воплощения. Так, Достоевский «сумел преодолеть соблазн мессианства» для своего героя, «но следы этого в романе остались» (приводится пример — эпизод «смотрины» князя).

Создается впечатление, что автору книги «Тайна князя Мышкина» очень хочется увидеть в герое Достоевского повторение евангельского Христа, и это подтверждается теми натяжками, с которыми трактуется текст романа. Пребывание Мышкина в Швейцарии уподобляется райскому существованию, а сама страна называется «раем» (этот перекокс есть еще у К. В. Мочульского): весь драматизм истории Мари и борьбы «Леона» за души детей в горной деревушке не замечен, дети превращены в «ангельскую стаю», а сам герой — в пришельца из «рая». Достаточно «говорливому» Мышкину приписывается «молчание» Христа из поэмы Ивана Карамазова. Герой уподобляется Христу, по наблюдениям исследовательницы, и в восприятии других персонажей, в частности — Ипполита, на самом деле в романе и тянущегося к Мышкину, и сохраняющего дистанцию по отношению к своему антиподу.

Весьма смело в исследованиях Г. Г. Ермиловой привлекается весь багаж мировой культуры, истории, философии, церковных установлений и богословской мысли. Не слишком ли много ипостасей обнаружено в образе Мышкина: «идиот и юродивый, эпилептик и пророк-провидец, Христос, Магомет, Дон Кихот, Рыцарь бедный, Пиквик, Жан Вальжан...» (97), хотя тут же исследовательница замечает опасность проглядеть стержень неповторимого образа? «Плотность обволакивающей культурно-мифологической фактурности» (Реферат, 30) не дает ей покоя, и привлекаются запасы такой эрудиции, что реальный князь Лев Николаевич Мышкин оказывается в какой-то мере заслоненным именами, фактами, аналогиями. Необъятные возможности мифопоэтики и интертекстуального анализа используются для того, чтобы раскрыть «обилие культурных перепадов и встреч», связанных с героем. При этом теряются мера и такт, создается впечатление, что эрудиция уже не во благо. Избыточность источников и аналогий — от Мамаю и протопопу Аввакума до Маши Распутиной с Наташей Королевой (Реферат, 20, 37) призваны доказать универсальность и синтетичность образа, ключом к которому мыслится имя Христа. В небольшой книжке (всего-то 129 стр., или около 8 печ. л.) есть ссылки даже на решения Ефесских соборов 431 и 449 годов, Халкидонского собора 451 года, VI Вселенского собора 680–681 годов (стр. 99), но как мало в ней непосредственного анализа текста! На следующей странице узнаем, что Ипполит Терентьев «впадает в грех арианства», раскрывается суть этой ереси, но соотношение тем Мышкина и его основного идейного оппонента в романе объяснено в нескольких предложениях.

Иногда возникает впечатление, что достоевистика (и не только отечественная!) избрана кем-то для того, чтобы показать на ее примере, до какого тупика в состоянии дойти наши подходы, если не контролируются необходимым чувством меры и такта. На стр. 36–37 реферата

диссертации Г.Г.Ермиловой раскрывается «эзотерическая глубина» имени Лев, по ее мнению, «безусловно осознаваемая автором романа». Для этого привлекаются авторитеты пророка Иезекииля, ученых Р.Генона, Г.Бидермана, Ф.Оли и А.В.Михайлова. В таком подходе исследовательница не одинока. В статье Л.Мюллера целый раздел под названием «Собака как символ Христа» посвящен «эзотерической глубине» образа собаки Нормы в сне Ипполита. Речь идет о подспудном тяготении этого персонажа к христианству, но очень не хочется, чтобы наши штудии походили на пародию: «Погибла ли Норма от последнего укуса рептилии? Вышел ли Христос победителем в поединке со смертью?»<sup>24</sup> ... Нельзя тут не вспомнить статью Т.А.Касаткиной, названную с наивной простотой «Крик осла»<sup>25</sup>. Казалось бы, пора и остановиться, но зверинец еще не полон. В своей весьма существенной, умной статье А.Е.Кунильский не мог удержаться от того, чтобы не раскрыть мифологему, из которой, по его мнению, возникла фамилия Мышкина. Оказывается, горные, почти швейцарские мыши фигурируют в «Книге притчей Соломоновых»<sup>26</sup> ... Как не изобретателен, не находчив и мало образован К.В.Мочульский, увидевший происхождение фамилии героя всего лишь в названии одного из уездов Ярославской губернии<sup>27</sup>!.. Впрочем, зверинец еще не весь исчерпан...

Для Ермиловой формула «Князь Христос» — прямая «авторская характеристика», «которая в переводе на русский» означает «русский Христос» (Реферат, 20). Роман рассматривается «как трагедия русского Христа» (Там же, 47), разъясняется понятие «русский Бог» — «одна из устойчивых национально-культурных мифологем». О Достоевском говорится, что он «русифицирует Евангелие и евангельский образ Христа» (52); достаточно абстрактный афоризм «красота спасет мир» подается как имеющий «православно-национальную окрашенность» (53). В то же время показана «бессемейность и неукорененность князя в русской жизни» (51), что подчеркивает его «особое избранничество». А еще однажды мы узнаем, что «„христоцентричность“ Достоевского — с сильным западным оттенком» (72). После всего этого поймешь и В.В.Борисову, которой вдруг сделалось неуютно от того, что писателя и его героя так плотно привязывают к одной определенной конфессии<sup>28</sup>. Если говорить всерьез, ответ вопрошающей В.В.Борисовой может быть только один: «художественные факты должны истолковываться в рамках родственной им знаковой системы (в данном случае —

<sup>24</sup> Мюллер Л. Образ Христа в романе Достоевского «Идиот» // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Вып. 2. С. 382.

<sup>25</sup> См.: Касаткина Т. А. Крик осла // Роман Достоевского «Идиот»: Раздумья, проблемы. Иваново, 1999.

<sup>26</sup> См.: Кунильский А. Е. О христианском контексте в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Вып. 2. С. 399.

<sup>27</sup> См.: Мочульский К. Указ. соч. С. 389.

<sup>28</sup> См.: Борисова В. В. Из истории толкований романа «Идиот» и образа князя Мышкина // Роман Достоевского «Идиот»: Раздумья, проблемы. С. 173.

христианской)»<sup>29</sup>. Но с «привязыванием» Достоевского и Мышкина к ортодоксальному православию дело явно обстоит неблагополучно. К тому же идет активное вовлечение Достоевского и его образов в создание новой национальной мифологии, а это задача не для серьезной науки. Но паниковать не стоит! Уже сама Ермилова отметила в «Идиоте» «разбушевавшуюся стихию языческих сил» (29). Для Л. В. Карасева с точки зрения его «онтологической поэтики» бесспорен «языческий дух романа»<sup>30</sup>. И по мнению А. Е. Кунильского, в произведении «христианскому пласту» противостоит пласт «языческий» — «со своими взглядами и предпочтениями», так же как замечен «антиправославный ингредиент образа Аглаи Епанчиной» (там налицо польская интрига!)<sup>31</sup>. Еще неизвестно, лет этак через пять какой пласт кому покажется преобладающим!..

К. В. Мочульский уже прослеживал в изображении Достоевского два плана — эмпирический и метафизический, и он не пренебрегал первым планом: по его убеждению, в романе «Идиот» «свое апокалиптическое видение мира автор строит на фактах „текущего момента“»<sup>32</sup>. Г. Г. Ермилова пошла скорее за Н. Бердяевым, считавшим, что искусство писателя «менее всего занято эмпирическим бытом»<sup>33</sup>. Она подчеркивает, что в анализируемом произведении «метафизическое <...> главенствует и подчиняет себе эмпирический план» (86). Это понимание воплощается и на практике. Один пример: «Княжество Мышкина не столько родословное, — пишет исследовательница, — сколько духовное. Фамильно-эмпирический его план выписан неотчетливо и даже противоречиво, духовный же аристократизм князя — безусловен» (51). Тут хочется обидеться вместе с Лебедевым: да ведь «имя историческое, в Карамзина „Истории“ найти можно и должно» (8; 8)!..

Но и весь роман прочитывается так отвлеченно, что его не всегда узнаешь. При оговорках: «В мире Достоевского нет ни чистой эмпирии, ни чистой метафизики» (101) — роман рассматривается тем не менее как «метафизический», «мистический», и в нем «главное — метафизический, метаисторический смысл» (Реферат, 27). Глава 3 в диссертации посвящена «христианской эзотерике». Среди источников авторского взгляда называется даже скопчество: «Видимо, Достоевский прозревал в скопческом изуверстве душу живую» (66. Ср. 70 и др.). Приходится порадоваться, что литературовед не настаивает на «ритуальности романа» (Реферат, 26). И хочется напомнить слова самого Достоевского, которые исследовательница знает: «В русском христианстве, по-настоящему,

<sup>29</sup> Кунильский А. Е. Указ. соч. С. 398.

<sup>30</sup> Карасев Л. В. Онтологический взгляд на русскую литературу. М., 1995. С. 59.

<sup>31</sup> Кунильский А. Е. Указ. соч. С. 401, 402. Ср.: Михнюкевич В. А. Князь Мышкин и Христос религиозного фольклора // Роман Достоевского «Идиот»: Раздумья, проблемы. С. 37–38; Суркова Ж. Л. «Идиот» и «Анна Каренина»: к проблеме художественных созвучий // Там же. С. 99.

<sup>32</sup> Мочульский К. Указ. соч. С. 395.

<sup>33</sup> Бердяев Н. Мирозерцание Достоевского // Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 18.

даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ, — по крайней мере, это главное» (23; 130). Имеем ли мы после этого право вчитывать в текст писателя смыслы и значения, далекие от него и чуждые?!

Чтобы объяснить, как сочетаются в произведении «эзотерические глубины» и горние высоты, исследовательнице придется искать оправдательные формулы жанра и метода Достоевского. Оказывается, роману «Идиот» присуща «некая метафизическая элитарность» (128). (По частоте употребления слово «метафизический» в книге вне конкурса). Говоря о Христе Иоаннова Евангелия как мифопоэтической основе образа Мышкина, литературовед квалифицирует «еретическую дерзновенность» этого замысла — «при всей очевидной невозможности (?) и даже кощунственности» его (117). Логика вынуждена отступить: «Безумно-дерзновенный творческий размах Достоевского» (34) обретает уже признаки некоей «поэтики „возможности невозможного“» (37), «поэтики христианского дерзновения» (48). Показывая «Князя Христа», «Достоевскому было важно явить читателю зримо осязаемую возможность беспредельного» (30). Идеалу, выраженному в образе Мышкина, присуща «бесконечность». Так роман «Идиот» действительно превращается в «самый мистический» из романов Достоевского. Показательно, что в диссертации Г. Г. Ермиловой подводится уже методологическая база под все эти крайности и противоречия, и «непонятность» прокламируется как обязательное свойство художественного произведения.

Но как радостно наблюдать, что серьезная исследовательница все-таки вырывается, «вырастает» из невнятицы и перекосов первоначальной работы!.. В сборнике, выпущенном Ивановским университетом и целиком посвященном роману «Идиот», напечатана статья Г. Г. Ермиловой, названная скромно и непритязательно «Пушкинская цитата в романе „Идиот“»<sup>34</sup>. На мой взгляд, научный поиск приобрел в ней те очертания, когда становится более общезначимым и безусловным по своим результатам. Это не потому, что в указанном труде нет спорных формулировок или даже повторения того, что вызывало сомнения. Но зато есть то, что, думается, составляет суть нашего дела. Проследивание спора и взаимодействия двух сюжетов в романе — внешнего и потаенно внутреннего, «рыцарского» и «христианского» — по-настоящему интересно. В этой работе перед нами не самодеятельный доктор богословия, а глубокий литературовед, разбирающийся в тех проблемах, которые подлежат компетенции нашей науки.

Одно из объяснений, почему в последнее время обострились споры о романе «Идиот», звучит в статье А. Е. Кунильского: «Распространенность версии о Мышкине как о „Князе Христе“, очевидно, и побуждает некоторых литературоведов усомниться в ней, оспорить и отвергнуть»<sup>35</sup>. Но дело все-таки, по-видимому, не в количественных показателях,

<sup>34</sup> Роман Достоевского «Идиот»: Раздумья, проблемы. С. 60–89.

<sup>35</sup> Кунильский А. Е. Указ. соч. С. 391.

а в зыбкости, непрочности оснований. На прошлых этапах бытования нашей науки было достаточно выхватить из записных тетрадей Достоевского одну формулу и посчитать ее все объясняющей, тем более что в нее входит имя, много значащее и для писателя на протяжении всей его сознательной жизни, и для большей части человечества до сих пор. Однако уже тогда такой подход был изначально уязвим, и я напому одно весьма давнее утверждение известного ученого: «Смысл художественного произведения вообще постигается не с помощью ключа (это было бы очень легкое занятие, благо каждое произведение может предоставить таких ключей с избытком), а из сопоставления всех его частей и компонентов, из их полифонического звучания»<sup>36</sup>. Но до сих пор мы уповаем на чудодейственный код, охотно ищем волшебные ключи, вместо того чтобы иметь дело с произведением в его данности, анализировать художественное целое. Тот же А.Е. Кунильский предлагает вместо одного не очень себя оправдавшего инструмента другой ключик. Замечательно ясно сформулировано: «Неоправданным оказывается безоговорочное применение к Мышкину черного, установочного определения „Князь Христос“»<sup>37</sup>, но фраза имеет продолжение: вместо одной формулы предлагается акцентировать внимание на факультативном, давно забытом, боковом значении слова «идиот» («мирянин»).

Многие трактовки строятся до сих пор на спасительном коде. Но вынь этот обманчивый стержень, что останется от иных построений?! Не рассыплется ли все рукотворное и своевольное здание? Г.Г. Ермилова в своей противоречивой книге, во многом основанной на формуле «Князя Христа», принятой безусловно на веру, тем не менее иногда прорывается к постижению непосредственной данности произведения. И тогда вдруг возникает понятие «„срыв“ мифа» (101). Сначала навязали тексту значение, ему не присущее; когда же это стало очевидным, пришлось выдумывать наукообразные объяснения для отступления. Мысль человеческая изобретательна. И Г.Г. Ермилова пишет: «Мифологическое повествование должно было уступить место романному» (101), но тут же признает, что уже с самого начала Мышкин вовлечен в чисто человеческую драму, «в слепую игру страстно-любовных стихийных отношений», а «евангельский Иисус вне этой стихии» (Там же)... Да с первых же страниц мы имеем дело с романом, а не с житием, и главный герой — реальный человек, а у человека иные возможности по сравнению с Богом. Архетип же, получается, не так уж много объясняет в этом случае, да и не преувеличено ли его место, присутствует ли он в романе Достоевского?..

Или взять спор в произведении между «иконой» и «портретом», который так находчиво и драматически прослеживается в работе

<sup>36</sup> Манн Ю. Художественная условность и время // Новый мир. 1963. № 1. С. 225. Ср.: Грехнев В. А. Словесный образ и литературное произведение. Нижний Новгород, 1997. С. 110–111.

<sup>37</sup> Кунильский А. Е. Указ. соч. С. 406.

Т. А. Касаткиной (думается, пока лучшей в списке ее публикаций)<sup>38</sup>, и он обнаруживает свою необязательность. Исследовательница чутко поняла, что Мышкин в иконописный лик не укладывается. Но мешала традиция, не каждый в состоянии с нею разделаться при помощи топора... Скальпель — более хитрый инструмент. Теперь — то становится ясно, что Достоевский и не стремился создать икону — он с самого начала ориентировался на портрет. В этом природа его изображения.

Отпадают и многие скоропалительные диагнозы вроде «неудачи замысла», «провала замысла» (В. М. Лурье)<sup>39</sup> и прочих «неудач».

Иное дело с тонкой концепцией И. А. Кирилловой, считающей, что в сознании Достоевского спорили два представления о Христе — абстрактно-гуманистическое и подлинно религиозное<sup>40</sup>. Если отказаться от формулы «Князь Христос» как всеобъясняющего кода к роману «Идиот», эта трактовка приобретает даже более принципиальный, хотя и менее прикладной характер и помогает лучше осознать сложность и динамичность позиции художника, который никак не превращается в догматика-ортодокса, в верующего средневековой формации, как бы мы его в эту сторону не тянули. Надо, наверное, прислушаться: «Сколько бы Достоевский ни жаждал непосредственной веры в Богочеловека, он остается на позиции современного ему человека, у которого потребность в вере уживается с глубоким сомнением»<sup>41</sup>. Правда, это выражено слишком просто для нынешней нашей достоевистики — скорее «догматически», чем «керигматически», не указаны компоненты и обертоны, похоже на схему, но нет ли в этом простом и ясном утверждении ядра истины?..

В заключение прислушаемся к голосу, все-таки неотменимому в наших спорах. Всегда ли мы его слышим как следует, не забывают ли его «шумы» наших текущих пристрастий и увлечений?! Поняли ли мы в оттенках и логических ходах известное письмо Достоевского к С. А. Ивановой от 1 (13) января 1868 г.? Ведь в нем видно, как отчетливо различает писатель границу между литературой и областью религиозных феноменов. Сначала речь идет о творческой задаче «изобразить положительно прекрасного человека». В этой связи автором замечено, что «прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы — еще далеко не выработался». Существенно это утверждение: хотя вскоре пойдет речь о Христе, Иисус как высокий, безусловный, единственный в своем

<sup>38</sup> Касаткина Т. А. Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского // Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. М., 1996; То же // Достоевский в конце XX века: Сб. статей. М., 1996.

<sup>39</sup> Лурье В. М. Догматика «религии любви»: Догматические представления позднего Достоевского // Христианство и русская литература. СПб., 1996. Сб. 2. С. 301 и др.

<sup>40</sup> См.: Кириллова И. Литературное изображение Христа // Вопросы литературы. 1991. № 8; Она же. К проблеме создания хриstopодобного образа (Князь Мышкин и Авдий Каллистратов) // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1992. Т. 10.

<sup>41</sup> Клюс Эдит. Образ Христа у Достоевского и Ницше // Достоевский в конце XX века. С. 472.

роде образец к этой сфере не принадлежит, это как бы иная плоскость. Достоевский со слов «На свете есть...» переходит к разговору в плане религиозном, называет Христа, указывает на Евангелие Иоанна, но тут же останавливает себя («Но я слишком далеко зашел», то есть совсем в иную сферу!..) и возвращается к литературе, «христианской», но — литературе... Тогда-то и называются имена Дон Кихота, Пиквика, Жана Вальжана. Затем разговор естественно переходит к конкретным фактам, касающимся работы над романом (28; 251).

Можно ли предположить, что через три месяца Достоевский все границы позабудет, запутается в ранее ведомой ему иерархии явлений и возьмется за изображение нового пришествия Христа в облике князя Мышкина? Даже если учесть, что художник не очень-то подчиняется всем понятной логике, такое мало вероятно. Трудно подсчитать долю условности и метафоричности в формуле «Князь Христос». Можно только допустить, что эта формула действительно отразила один из «соблазнов» для художника. Однако текст романа свидетельствует, что соблазн таковым и остался и был преодолен. Наиболее адекватно воспринял вопрос К. В. Мочульский, хотя, может, и не во всех частностях прав. Мысль же, которую развила И. А. Кириллова, есть уже у В. В. Зеньковского, сходным образом прокомментировавшего письмо к С. А. Ивановой<sup>42</sup>. Для нас же сейчас очень важен вытекающий из изложенного вывод: по рассмотренному письму видно, что создатель «Идиота» отыскивает идеал («прекрасное» — по-другому) не в сфере святости и религиозного откровения. Это, возможно, огорчит иных читателей этой статьи, страдающих пылкой увлеченностью неофитов. Ничего не поделаешь: Сократ мне друг, но истина дороже!.. Вряд ли надо уповать на то, что удастся переубедить всех. Увы, упрямство входит как элемент в человеческие характеры и в процесс познания. Отправляясь в Индию, Колумб открыл Америку. Но человек еще и упрям: он может до конца света требовать от Америки, чтобы она походила на Индию...

## СИЛА И БЕССИЛИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

В людских увлечениях и пристрастиях, по-видимому, есть своя немолчалимая логика: перестав ценить Божье, стали пренебрегать человеческим, самым беспощадным образом переступали через него... Когда сегодня Божье снова утверждается за счет человеческого, это отдает своеволием, излишней людской самонадеянностью. Потеряно динамическое равновесие Бога и человека, достигнутое в русской культуре XIX в., прежде всего в художественном изображении и в частности — у Достоевского.

В значительной мере от Н. Бердяева идет одно упрямое недоразумение, которое вдруг стало у нас модным стереотипом. Печать неприятия и даже запрета легла на понятие гуманизма. Продолжают употреблять

---

<sup>42</sup> См.: Зеньковский В. В. Проблема красоты в мирозерцании Достоевского // Русские эмигранты о Достоевском. С. 232–233.

его в положительном смысле или ретрограды, или — безнадежные провинциалы, чудаки, почти «идиоты»... Последнее же слово науки звучит так: «Достоевский одним из первых заговорил о порочности и бесчеловечности гуманистической философии, к середине XIX в. (?) окончательно отряхнувшей со своего платья последний налет средневековой (?) духовности и даже уже вытершей ноги о половичок атеизма»<sup>43</sup>. В изящной форме выражено одно из общих мест нынешнего идейного обихода. Противопоставление христианства гуманизму, компрометация гуманизма как понятия, а то и как принципа проходит стержневой линией через книгу Н. Бердяева «Миросозерцание Достоевского». Это мы усвоили. Но не заметили противоречия бердяевского изложения: употребляя слово гуманизм без определений, автор вдруг спохватывается и добавляет, что имеет в виду гуманизм просветительский. Мало того, зачеркивая всяческий гуманизм, Бердяев прочитывает Достоевского с позиций радикального персонализма<sup>44</sup>.

Конечно, гуманизм компрометировал не один мыслитель. Наш уходящий в историю век изрядно потрудился над этим. Но даже советская идеология не смогла понятие отбросить, старалась его приручить. Мы же смелы задним умом, легко попадаем в зависимость от модных «трихин». А вот глубокая работа С. Франка, где именно в связи с Достоевским ставится вопрос о типологии «гуманизма», его различных формах и системах, оказалась неслышанной<sup>45</sup>. Художественное мировоззрение Достоевского вряд ли объяснимо без понятия гуманизма. Писатель пользовался им. «Страстное человеколюбие» (И. Кириллова) — реальный элемент этого мировоззрения, а все оно в целом сложнее, многообразнее, чем в иных сегодняшних трактовках. Изображение Достоевского, оставаясь по своей ценностной ориентации в границах «христианского искусства» (понятие С. Булгакова), объяснимое в содержательном отношении как «христианский гуманизм», и отражает «мировой кризис религиозности» (И. Ильин), и воплощает победу веры над безверием, и соединяет Христа с Иовом.

Все это прямо относится к несчастному Льву Николаевичу Мышкину. Вот пример конкретного объяснения: «Гуманизм (то есть — гомоцентризм князя Мышкина) оказывается причиной гибели Настасьи Филипповны»<sup>46</sup>. В критике русской эмиграции указывалось на гуманистическую основу образа Мышкина и его недостаточную религиозную

<sup>43</sup> Фокин П. Е. «А беда ваша вся в том, что вам это невероятно...» (Достоевский и Солженицын) // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1997. Т. 14. С. 321. Ср.: Тоичкина А. В. Проблема идеала в творчестве Достоевского 1860-х годов (Роман «Идиот») // Достоевский и мировая культура. СПб., 1998. № 11.

<sup>44</sup> Показательно, что среди последних сочинений Бердяева есть статья «Пути гуманизма» (черновое название «Типы гуманизма»); см.: Бердяев Николай. Истина и откровение. СПб., 1996.

<sup>45</sup> См.: Франк С. Л. Достоевский и кризис гуманизма // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. Сб. статей. М., 1990.

<sup>46</sup> Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. С. 260–261.

оснащенность (К. Мочульский, Л. Зандер и др.). У нас сегодня это утверждение и развивается (В. Котельников) и, как мы только что видели, буквально переносится на смысл романа. В противовес мнимой аксиоме о тождестве Мышкина и Христа возникла другая, и когда она при помощи аналитического скальпеля применяется к художественному целому, то играет разрушительную роль.

«Странный образ» (В. Розанов), «странный герой» (К. Мочульский), Мышкин, сочетающий в себе полярные, казалось бы, несовместимые черты: «и глупец, и мудрый провидец» (Вяч. Иванов), — действительно задает не одну загадку своим характером и судьбой. И оценки его полярны: «Мышкин — это бриллиант» (Л. Толстой), «шедевр» (А. Ковнер), с одной стороны, а с другой — с легкой руки Д. Мережковского выстраиваются целые полки обвинений: «поврежденный» (И. Шмелев), «совиновник», «сообщник» Рогожина (Д. Мережковский, К. Мочульский), «недостаток дисциплинированной духовной силы» (Н. Лосский), «не лекарь, а скорее провокатор» (Т. Горичева)... Особенно педалируется «ответственность за сломанные судьбы других» (К. Исупов): «...сколько он ни старается, он не только никому ничем помочь не может, но и всегда способствует всем злым и дурным начинаниям» (Л. Шестов)<sup>47</sup>; «...И ведь князь все знал, предчувствовал, пытался предотвратить трагедию и ничего не смог. Ничего. Кроме последнего движения...» (И. Едошина)<sup>48</sup>. Если для Достоевского в «сострадании — все христианство» (9, 270), то для современной исследовательницы это всего лишь «суррогатная любовь-жалость» — то ли дело «нормальная мужская страсть»<sup>49</sup>. И «любви не проявляет» (И. Шмелев), «любить-то не умеет» (М. Гус)... В общем, и в соседи современный человек Мышкина не возьмет<sup>50</sup>.

Самым жалким образом иные сегодняшние оценки не поднимаются выше бытового уровня, но и разговор на уровне принципа порой плачевен для восприятия произведения и героя. Тонкий К. Мочульский, пожурив Мышкина за непонимание азбуки христианства: «что грех требует искупления и что в историю мира вписан голгофский крест», — увидел в желаниях князя «трагедию утопизма»<sup>51</sup>. Друг матери Марии, сполна изведавший горечь XX века, прошедший через революции, изгнание, войны, фашистскую оккупацию, он тем не менее свое прочтение романа «Идиот» не подчинил развенчанию утопии. Почти безошибочное чутье позволило дать ему, пожалуй, на сегодня самое полное и наиболее адекватное прочтение романа. Но к концу столетия мудрая ирония в адрес лопающихся, как мыльные пузыри, утопий стала перерастать в раздражение

<sup>47</sup> Шестов Лев. На весах Иова. Париж, [1975]. С. 67.

<sup>48</sup> Едошина И. А. Культурный архетип «идиота» и проблема «лабиринтного человека» // Роман Достоевского «Идиот»: Раздумья, проблемы. С. 224.

<sup>49</sup> Левина Л. А. Некающаяся Магдалина, или Почему князь Мышкин не мог спасти Настасью Филипповну // Достоевский и мировая культура. СПб., 1994. № 2. С. 99.

<sup>50</sup> См.: Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. С. 202.

<sup>51</sup> Мочульский К. Указ. соч. С. 406.

и ненависть, спор с утопиями становится соблазном. Л. М. Лотман назвала «Идиота» «величайшим утопическим романом», разглядела в центре его «утопию абсолютно прекрасного человека», «утопию нравственного перерождения человека», но делает осторожную оговорку, что имеет в виду «не несбыточность идеалов» писателя, а жанровую принадлежность произведения<sup>52</sup>. Для Г. К. Щенникова Мышкин — «утопический герой»<sup>53</sup>, «утопист», так как «ему представляется, что современных ему русских людей можно легко соединить общечеловеческими заботами, вопреки существующим социально-функциональным отношениям»<sup>54</sup>. Арпад Ковач дотошно выясняет соотношение позиций Достоевского с руссоизмом<sup>55</sup>.

Однако уже в наше время Н. Н. Арсентьева, исследовательница нового поколения, смело идет дальше всех, находя в романе «ранний опыт антиутопии». Изогранный анализ позволяет найти в самочувствии героя «кризис утопического сознания», «разрушение личности в процессе ее взаимодействия с миром»<sup>56</sup>. Разочарованные и ослепленные... прозрением, мы стали считать стихию антиутопии единственной средой обитания. Будто не подсказал нам Достоевский своим «Идиотом» и «Сном смешного человека» веское решение, что утопия — неизбежный и необходимый элемент мысли о мире и бытии, и без мечты о лучшем и идеальном жизнь заходит в тупик, превращается в бескрылое потребление.

Как неутолимы мы в своих претензиях! Высота планки нашей требовательности становится хорошо видна, если продолжать предъявлять Мышкину счет, по-прежнему объявляя его «князем Христом». А. Кунильский весьма пронципально сопоставил претензии в адрес Мышкина с прижизненными укорами в сторону Христа<sup>57</sup>. Но ведь и все христианство, и Христа можно упрекнуть в том, что после пришествия Богочеловека, Спасителя на земле не появилось какого-либо народа (или общества), в котором возобладала бы райская норма в отношениях между людьми, где все конфликты исчезли, не стало ни ревности, ни зависти, ни преступлений, ни убийств. Не осчастливили, не уберегли, не осуществили утопии?! И разве только благодаря обещанию благодатного лада и мира каждый год христианская часть человечества переживает Страсти Господни и радуется Воскресению?! Вслед за популяризатором современного прочтения романа приходится произнести: «идиотизм христианства»<sup>58</sup>!..

<sup>52</sup> Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974. С. 248–249.

<sup>53</sup> Щенников Г. К. Художественное мышление Ф. М. Достоевского. Свердловск, 1978. С. 49.

<sup>54</sup> Щенников Г. К. Достоевский и русский реализм. С. 246.

<sup>55</sup> См.: Ковач Арпад. Указ. соч.

<sup>56</sup> Арсентьева Н. Н. Становление антиутопического жанра в русской литературе: В 2 ч. М., 1993. Ч. 2. С. 197.

<sup>57</sup> См.: Кунильский А. Е. Указ. соч. С. 397, 399–400.

<sup>58</sup> Погорельцев В. Ф. Проблема красоты в романе «Идиот» // Вечерняя школа. 1993. № 4. С. 27.

Думается, однако, в бесконечном списке претензий к князю Мышкину прежде всего надо отвести те, которые связаны с приписыванием ему высокой миссии Христа. Каждый благородный человек, не порывающий с идеалами и правилами добра, стремящийся их осуществить, в какой-то мере повторяет на нашей грешной земле путь Иисуса Христа. Но возможности его не Божьи, а человеческие... И не здесь ли приоткрывается суть «оригинальной задачи в герое» (А. Майков), которую поставил перед собой Достоевский и так или иначе разрешил? Судьба Льва Мышкина задает много вопросов, но первый из них — о возможностях человека: что по силам мыслящему и чувствующему тростнику? Гражданина Мышкина настойчиво допрашивают, обвиняют, судят, одни — с крестом в руке, другие — с партбилетом, хотя подавляющая часть человечества почти так же бессильна в ситуациях, похожих на ту, в которой оказался хрупкий, болезненный герой. Может, в этом свидетельство удачи Достоевского, его победы, что так спорят о его герое, ибо воспринимают его как живого, наряду с Онегиным и Татьяной, Пьером и Наташей Ростовой, Анной Карениной и Левиным, теряя границы между литературой и жизнью?!..

У нас сегодня могут быть свои особые отношения с религией или с изжившим себя рационалистическим гуманизмом, но вряд ли это должно отражаться на научном освоении историко-литературного факта, являющегося художественной ценностью. Гораздо весомее объективные данные, доказательно и беспристрастно изложенные, чем заклинательное литературоведение, смыкающееся с мифологией, спешащее перенести на страницы ученого труда понятия из других дисциплин. «Софийность»<sup>59</sup>, «соборность»<sup>60</sup> еще надо научиться убедительно выявлять в художественной ткани, в поэтической структуре, прежде чем провозглашать их универсальную роль в русской литературе.

<sup>59</sup> Ивановский сборник открывается статьей Е. Новиковой «Христианские тексты и проблема софийности романа Ф. М. Достоевского „Идиот“». Но что это рассмотрение может дать, если по свидетельству другого автора — Т. Елшиной, «был один философский вопрос, который абсолютно не интересовал Достоевского <...> Речь идет о Софии и софийности» (стр. 113)? Результат в статье Е. Новиковой оказывается нулевым, исследовательница честно признается в этом, но обещает в других романах писателя найти софийность. К сожалению, кроме серьезных статей Г. Ермиловой, Э. Жиликовой, В. Тихомирова, в книге немало излишне отвлеченного, случайного, натянутого. Про Мышкина мы узнаем, что он — «как тайный северный суфий и западный мастер дзэна», но, «скорее, мистик-суфий», по поведению он — «культуротропное раскрытие метафизики равнины» (*Океанский В. П. Локус Идиота: введение в культурофонию равнины. С. 184, 187*). До сих пор, обложившись словарями, пытаюсь понять смысл формулировки из статьи Л. Тороповой «Сюжетное ожидание в романах Достоевского „Преступление и наказание“, „Идиот“, „Братья Карамазовы“»: «единая художественная ткань обладает гетерогенными, коррелирующими составляющими. На момент „икс“ изъятые фрагменты с яркими признаками гомо- и гетерогенности дали достаточные основания идентифицировать эти составляющие» (стр. 159).

<sup>60</sup> Ср.: *Чертков В. А. «Соборность» без берегов // Филологические записки. 1999. № 12.*

Текст романа свидетельствует о том, что писатель показал в своем герое всего лишь человека, но «положительно прекрасного», «вполне прекрасного», насколько это доступно обитателю грешной земли. Умеющий быть счастливым, когда все это умение растеряли, причастный к празднику бытия и включенный в его трагедию, он не столько идеолог, теоретик, пропагандист идеи, сколько органическая христианская натура, человек живущий. За его поведением — людская природа, в его мироощущении и самосознании выразилась современная личность. Он хрупок и не всемогущ, может ошибаться, впадать в крайности и увлечения, быть односторонним, нелепым, смешным и не боится этого. Образ создан в системе реализма, как бы этот реализм ни называть — фантастическим, романтическим, символическим и т. п., и Достоевский был озабочен тем, чтобы сделать образ достоверным, правдоподобным. Аномальность чудака, «идиота», «чужеземца» (Вяч. Иванов) служит первичным обоснованием близости к идеалу, принципиального праведничества героя. Но с самого начала дается не иконописный лик, а реальный портрет, с указанием на печать болезни.

Благостные характеристики (типа: «Бриллиантом без грязи является Мышкин»<sup>61</sup>; «Викарий Иисуса Христа в романе Достоевского прозрачен, как кристалл...»<sup>62</sup>) в состоянии спровоцировать на противоположные оценки. Так, откликаясь на тенденцию идеализации, М. Джоунс в статье 1976 г. заострил внимание на тех чертах Мышкина, которые не очень-то вяжутся с идеальной схемой<sup>63</sup>. С одной стороны, герой совсем не отторгает от себя однозначные социологические определения: «русский дворянин „петербургского периода“, европеец, оторванный от почвы и народа» (К. Мочульский), «разночинец» (Г. Пospelов), «аристократ-демократ» (Н. Чирков), кающийся дворянин (применимость последнего определения доказана всей судьбой тезки Мышкина графа Льва Николаевича Толстого<sup>64</sup>). Но с другой стороны, образ строится как бы в растянутом диапазоне возможностей и признаков. В структурном отношении он отличается, по М. Бахтину, незавершенностью и открытостью, ему не хватает «жизненной определенности» и законченности. Волнующая, задевающая за живое насущность героя как раз и создается, по-видимому, тем, что его образ возникает из сопряжения между состоянием, когда «идеал еще не выработался», а только складывается, и безусловным образом Христа; между заявкой на определенное решение и «недовполненностью», между должным и сущим, между земной реальностью и мистической связью с мирами иными, между материальностью

<sup>61</sup> Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского. Изд. 2-е, доп. М., 1991. С. 50.

<sup>62</sup> Погорельцев В. Ф. Указ. соч. С. 26.

<sup>63</sup> См.: Джоунс М. К пониманию образа князя Мышкина // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2.

<sup>64</sup> См.: Зандер Л. А. Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского). Франкфурт-на-Майне, 1960. С. 129–130; Перлина Н. Лев Николаевич Нехлюдов–Мышкин, или Когда придет Воскресение // Достоевский и мировая культура. СПб., 1996. № 6; Ковач Арпад. Указ. соч. С. 322–326; работы Г. Курляндской, Е. Тюховой и др.

и духовностью, взрослостью и детскостью, силой и бессилием. Такому образу можно пытаться навязать трактовку, но из любого слишком прямолинейного решения он будет выпадать.

Только в рамках художественного целого этот герой получает свою качественную определенность. И не менее (если не более), чем в любом другом романе из «великого пятикнижия», это целое обусловлено принципами трагического изображения. Именно в поле трагедии образ обретает функциональную нагрузку и необходимую — эстетическую! — определенность. «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» (8; 192). Хрупкий, невинный герой этот закон своими поступками выражает, так что сострадание в его случае становится равным роковой, чрезмерной трагической страсти. С осуществлением этого закона связан и личностный выбор героя, могущего покинуть поле трагедии, но остающегося во власти губительных обстоятельств. И тогда мы действительно видим «сюжет Христа вне изображения его образа» — сюжет самопожертвования, самоотдачи<sup>65</sup>. Любовь Мышкина к людям и миру приобретает качество универсальности, при всех его человечески понятных метаниях: ведь «любовь его объедал весь мир»<sup>66</sup>. «Беспомощность и обреченность героя» (Л. Левина) в соревновании с мрачными обстоятельствами, с людскими страстями, безуспешный спор с фатальным развитием событий хорошо знакомы, узнаваемы. Достаточно перечитать «Эдипа», «Гамлета», «Отелло». Это присуще трагедии. Но перед нами именно христианская трагедия — христианская по утверждаемым ценностям, по духу, но не букве, по сущностной подоплеке действия. Ведь «сострадание — все христианство» (9; 270). А «явленной истиной» становится герой — подвижник и чудак, абсолютными ценностями утверждаются добро, любовь, сострадание.

«Последний покрывающий и разрешающий свет в романе остается за идеалом Мышкина» — так воспринимал произведение А. Скафтымов в начале 20-х годов<sup>67</sup>, и трагический катарсис только такому переводу поддается. Но к концу века получилось, что искусство чтения приходит в упадок, а элементарные правила восприятия жанров, осознанные еще Аристотелем, забыты. И многое другое утеряно. Тогда звучит: «Дико читать о том, что князь, у которого ноги подкашиваются и сердце готово разорваться, гладит убийцу по лицу и голове <...> трагически некстати <...>. Крайность сострадания <...>. Добром надо управлять...»<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> Поддубная Р. Н. Сюжет Христа в романах Достоевского // Ф. М. Достоевский и национальная культура. Челябинск, 1996. Вып. 2. С. 36. ср. 49.

<sup>66</sup> Обломиевский Д. Д. Князь Мышкин // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. С. 290.

<sup>67</sup> Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 80. Не хотелось бы, чтобы освоение романа прежде всего как литературного факта, шедшее в глубоких работах А. Скафтымова, Я. Зунделовича, позднего Г. Фридлиндера, Ф. Евнина, Д. Соркиной, Р. Ф. Миллер, В. Туниманова и др., не получило продолжения.

<sup>68</sup> Погорельцев В. Ф. Указ. соч. С. 27.

По Б.Парамонову, в финале романа происходит «какое-то совсем уж бульварно-мелодраматическое убийство»... То, что было доступно пониманию А.Волынского или И.Шмелева, сегодня переводится на плоский язык бытовой прагматики. Даже в словаре-справочнике по Достоевскому ведется элементарный счет: в финале романа Мышкин «вновь впадает в идиотизм, то есть оказывается побежденным»<sup>69</sup>. А ведь общеизвестно, что трагическое искусство утверждает идеал через показ гибели его носителя. Авторское «харакири» в финале романа для многих нынешних толкователей бесспорно.

Куда ж дальше идти?! «В поле бес нас водит, видно...» Спор о князе Мышкине входит в структуру произведения. Созаем ли мы, читатели и толкователи, что со всей разноголосицей мнений включены в диспут, начавшийся с самого начала, еще в хмурое петербургское утро?.. Ни в одном романе Достоевского не развернута так изобретательно и широко драма оценки героя и не озвучена в хоре голосов, требующем участия и читателей<sup>70</sup>. Как хочется однозначного объяснения, руководящего указания в оценке странного героя! Даже К.Мочульский склоняется к тому, чтобы Евгения Павловича Радомского посчитать alter ego автора, носителем единственно верного толкования произошедшего (и приписывает ему по ошибке слова князя Щ., что «рай на земле нелегко достается». — 8; 282)<sup>71</sup>. Однако дискуссия о Мышкине предугадана, запланирована, и сказали ли последующие критики что-нибудь принципиально новое по сравнению с тем, что уже наговорено непосредственно на страницах романа о герое, его поступках, результатах его весьма реальной миссии?! Только Достоевский-художник выражает свое главное мнение не в отдельных высказываниях, не при помощи «голосов», но через художественное целое.

Почему в конце XX в. попал на перекресток полемик именно роман «Идиот», почему сегодня кажется «горячим» это произведение Достоевского? Потому что «бесовщина» в ее самом кошмарном и кровавом виде как будто пережита человечеством, становится историей или отеснена

<sup>69</sup> Щенников Г. К. «Положительно прекрасный человек». С. 109–110. Гораздо убедительнее трактовка в кн.: Щенников Г. К. Достоевский и русский реализм. С. 251. Трагический катарсис в романе убедительно раскрыт в кн.: Тяпугина Н. Ю. Идеи и идеалы. Саратов, 1996. С. 157–161 и др. Часто создается впечатление, что мы смотрим на судьбу Мышкина глазами Ипполита, а он в своем свете воспринимает, например, картину Гольбейна (см. об этом: Тихомиров Б. Н. О христологии Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1994. Т. 11. С. 112–121). Прислушаемся: «Достоевскому, как и Сервантесу, роман его удался потому, что он изобразил в нем не „вполне прекрасного человека“, не Христа, а лицо хотя и обладающее высокими достоинствами, но оказывающееся часто жалким, смешным и, наконец, неизлечимо больным» (Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 185).

<sup>70</sup> О стратегии повествования, рассчитанной на читательское восприятие, см. в кн.: Джоунс Малкольм. Достоевский после Бахтина. СПб., 1998. С. 138–172.

<sup>71</sup> Мочульский К. Указ. соч. С. 406. Роль Евгения Павловича точнее определена в работах Я. Зунделовича, Н. Тяпугиной.

на периферию людского общежития. Потому что «раскольниковщина» опознана и перешла в темное сознание и практику тех, кто не очень-то раздумывает. Наоборот, роман о князе Мышкине выдвинулся на первый план в наши дни потому, что в переходную эпоху наиболее актуальны вопросы о ценностях, об ориентирах, о границе между идеалами и идолами. И наша эпоха здесь перекликается с эпохой рубежа 60–70-х годов прошлого века.

К сожалению, не все факты, оценки, мнения, попавшие в эту статью, в полной мере относятся к научному поиску, который всегда оправдан. Очень часто жажда самоутверждения, отдающая своеволием, выливается в эпатажные концепции и дразнящие формулировки. Но произведения Достоевского — художественные ценности, у мнимого неудачника обнаружилось большое будущее: «Когда-нибудь, когда в книгах, подобных „Идиоту“, „Преступлению и наказанию“ или „Братьям Карамазовым“, устареет все внешнее, они в своей совокупности останутся для нас уже во многих частностях непонятным, как творение Данте, но все же бессмертным и потрясающим воплощением целой всемирной эпохи»<sup>72</sup>. Надо бы нам разобраться в сумбуре мнений, возникших вокруг этой «самой одухотворенной»<sup>73</sup> из книг писателя. Современники всегда спешат, им некогда, но нам-то стыдно удовлетворяться невнятицей, модой или произволом.

---

<sup>72</sup> Гессе Герман. Письма по кругу. С. 62.

<sup>73</sup> Там же. С. 158. Не считали неудачей роман «Идиот» Л. Толстой и Щедрин, Г. Товстоногов и А. Куросава, Андр. Тарковский и А. Вайда, И. Смоктуновский и Ж. Филипп...